

Малькольм
Лаури



У подножия вулкана

[роман]



XX век / XXI век – The Best

Малькольм Лаури
У подножия вулкана

«ФТМ»
«Издательство АСТ»

1947

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Лаури М.

У подножия вулкана / М. Лаури — «ФТМ», «Издательство АСТ», 1947 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-104822-8

«У подножия вулкана» — во многом автобиографичный роман о человеке, создавшем для себя земной ад и в нем сгоревшем. Действие разворачивается в маленьком мексиканском городке в День поминовения усопших — последнем в жизни беспробудного пьяницы Джеффри Фермина, бывшего британского консула. Эрнест Хемингуэй прочел «У подножия вулкана» шесть раз, последний — за два дня до своего самоубийства. Он неизменно рекомендовал своим друзьям «почистить душу» этой книгой в периоды похмелья. Габриэль Гарсиа Маркес говорил, что читал этот роман чаще, чем любой другой в своей жизни.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-104822-8

© Лаури М., 1947

© ФТМ, 1947

© Издательство АСТ, 1947

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

28

Малькольм Лаури

У подножия вулкана

Моей жене Марджерии

Серия «XX век – The Best»

Malcolm Lowry
UNDER THE VOLCANO

This book was originally published in 1947 by J.B. Lippincott, re-issued in 1984 by Harper & Row Publishers.

Перевод с английского В. Хинкиса

Печатается с разрешения литературных агентств Sterling Lord Literistic и The Van Lear Agency LLC.

- © Malcolm Lowry, 1947
- © renewed 1975 by Margerie Lowry
- © Перевод. В. Хинкис, наследники, 2017
- © Издание на русском языке AST Publishers, 2018

В мире много сил великих, но сильнее человека нет в природе ничего. Мчится он, непобедимый, по волнам седого моря, сквозь ревущий ураган. Плугом взрывает он борозды вместе с работницей-лошадью, вечно терзая Праматери неутомимо рождающей лоно богини Земли.

Зверя хищного в дубраве, быстрых птиц и рыб, свободных обитательниц морей, силой мысли побеждая, уловляет он, раскинув им невидимую сеть. Горного зверя и дикого поработает он хитростью, и на коня густогривого, и на быка непокорного он возлагает ярмо.

Создал речь и вольной мыслью овладел, подобный ветру, и законы начертал. И нашел приют под кровлей от губительных морозов, бурь осенних и дождей. Злой недуг он побеждает и грядущее предвидит, многомудрый человек. Только не спасется, только не избегнет смерти никогда.

Софокл «Антигона»¹

И благословил я тогда естество пса и жабы, истинно, восхотел я приять естество пса или жеребца, ибо ведал, что не имут души, обреченной гибели через вековечное бремя Прегрешения или Ада, подобно душе моей. Но хотя я сие зрел, сие чувствовал и сим сокрушен был, безмерно печаль моя приумножилась, ибо сколь ни искал я в душе своей, но не находил там готовности обрести спасение.

Джон Беньян, «О благодати, ниспосланной величайшему из грешников». Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.

¹ Перевод Д. Мережковского.

«Чья жизнь в стремленьях вся прошла, того спасти мы можем».

Гёте²

1

Две горные гряды пересекают республику приблизительно с севера на юг, образуя меж собой множество долин и плоскогорий. На краю одной из таких долин, у подножия двух высоких вулканов, на высоте шести тысяч футов над уровнем моря приютился городок Куаунауак. Он расположен к югу от тропика Рака, а точнее говоря, близ девятнадцатой параллели, примерно на одной широте с островами Ревилья-Хихедо, что лежат к западу от него в Тихом океане, или, если проследить еще западнее, с южной оконечностью Гавайского архипелага, а к востоку – с портом Цукох на Атлантическом побережье полуострова Юкатан, у границы Британского Гондураса, или, гораздо восточнее, – с портом Джагтернаут в Индии, на берегу Бенгальского залива.

Город стоит на взгорье, обнесен высокими стенами, улицы и переулки его петлисты и запутанны, дороги извилисты. С севера сюда ведет великолепное шоссе, проложенное по американскому образцу, но оно теряется в тесных улочках, превращаясь в простую тропу среди горного бездорожья. В Куаунауаке восемнадцать церквей и пятьдесят семь питейных заведений. Среди прочих его достопримечательностей можно отметить поле для игры в гольф, не менее четырехсот общественных и частных плавательных бассейнов, питаемых неиссякаемыми горными родниками, а также множество роскошных отелей.

Отель «Казино де ла сельва» стоит еще выше города, на ближнем склоне, подле вокзала. Он выстроен вдали от шоссе, среди зелени садов, и украшен террасами, с которых открывается вид далеко на все стороны света. Царственное его великолепие исполнено скорбным духом померкшего блеска. Ныне казино уже не существует. Даже сыграть в кости на стакан вина здесь невозможно. Призраки разорившихся игроков витают повсюду. И никто не купается в превосходном бассейне. Трамплины цепенеют в унылом запустении. Спортивные площадки поросли травой. Лишь два теннисных корта от сезона к сезону содержатся в относительном порядке.

В предвечерний час, на исходе Дня поминовения усопших, в ноябре 1939 года, двое мужчин в белых фланелевых брюках сидели на большой террасе «Казино», потягивая анисовую настойку. Они уже сыграли несколько партий в теннис, а потом в бильярд, и теперь ракетки их в непромокаемых футлярах – треугольном у доктора и квадратном у его партнера – лежали перед ними на балюстраде. Когда траурные процессии, спускавшиеся с кладбища по извилистой тропе, приблизились, оба услышали протяжное пение; повернув головы, провожали они глазами печальное шествие, которое теперь удалялось, и вот уже стали видны лишь сиротливые огоньки свечей, плутовавшие где-то вдали, по кукурузному полю. Доктор Артуро Диас Вихиль пододвинул бутылку анисовки мсье Жаку Ляруэлю, который сидел недвижимо, подавшись вперед всем телом.

Чуть правее и ниже террасы, под сенью неохватного пламенеющего небосвода, алой кровью окропившего безлюдные бассейны, которые сверкали всюду, куда ни глянь, словно вездесущие миражи, безмятежно и благодатно покоился город. Отсюда казалось, будто и в самом деле ничто не возмущает эту безмятежность. Но если прислушаться внимательно, как это сделал теперь мсье Ляруэль, можно было различить отдаленный, нестройный гул, явственный и вместе с тем сливавшийся с невнятным ропотом и монотонными воздыханиями траурных

² «Фауст». Перевод Б. Пастернака.

шествий, словно звучало какое-то пение, то всплескиваясь, то замирая, и неумолчные, глухие шаги – шум и разноголосица фиесты продолжались весь день.

Мсье Ляруэль налил себе еще рюмку анисовки. Он пил анисовку, потому что она чем-то напоминала ему абсент. У него раскраснелось лицо и подрагивала рука, державшая бутылку с цветной этикеткой, откуда румяный чертик угрожал ему вилами.

– ...Я пытал сделать ему убеждение уехать отсюда и становиться... *déalcoholisé*³, – говорил доктор Вихиль. – Он запнулся на французском слове и продолжал по-английски: – Но на следующий день после бала я сам имел такое нездоровье, что совершенно осложнился на весь организм. И это есть плохое дело, потому что мы, врачеватели, обязаны совершать деяния, как будто апостолы. Вы же помните, в тот день мы, подобно теперь, сыграли теннис. А когда я повидал консула в его саду, я слал свою слугу узнавать, не угодно ли ему на минутку, милости просим, жаловать мне визит, а когда не угодно, пускай хотя бы даст узнать по записке, есть ли он еще живой через свое пьянство или уже не есть.

Мсье Ляруэль улыбнулся.

– Но они уже там не были, – продолжал доктор, – и тогда, безусловно, я решил узнавать от вас, заставляли вы его дома или не заставляли.

– Когда вы позвонили мне, Артуро, он был у меня.

– Ну, я, конечно, это знаю, только в ту ночь мы так мертвецки напили себя и были так абсолютно *borrachos*⁴, что консул, наверное, заболел, мне подобно, и даже был похмельней меня. – Доктор Вихиль покачал головой. – Болезнь не содержит себя только в теле, она содержит себя и там, где общепринято называть «душа». Ваш друг, который был бедняга, ни с какой стати сорил деньги, и жизнь его была сплошная трагедия.

Мсье Ляруэль допил анисовку. Он встал и подошел к балюстраде; облокотясь о лежавшие там теннисные ракетки, он взглянул вниз на одичавшие, заросшие травой площадки, на безжизненные теннисные корты, на фонтан, расположенный совсем рядом, посреди главной аллеи, куда привел лошадь на водопой какой-то крестьянин с кактусовой плантации. Двое молодых американцев, юноша и девушка, затеяли в этот поздний час играть в пинг-понг на нижней веранде. Свершившееся год назад, в этот самый день, представлялось теперь бесконечно далеким, словно с тех пор прошло целое столетие. Казалось, все это канет, как капля в море, среди сегодняшних треволнений. Но нет, это не так. И хотя трагедия мало-помалу отдалается и обесмысливается, все-таки ему еще памяты те дни, когда каждая человеческая жизнь имела самодовлеющую ценность, а не забывалась после ошибочного упоминания в коммюнике с театра войны. Он закурил. Далеко слева, на северо-востоке, за долиной и уступчатыми предгорьями Восточной Сьерра-Мадре высились два вулкана, Попокатепетль и Истаксиуатль, горделиво сиявшие в пламени заката. Чуть ближе, милях в десяти, внизу, под главной долиной, виднелся поселок Томалин, уютно пристроившийся у самого леса, где над деревьями тонкой голубой струйкой противозаконно курился дымок от костра углежога. Впереди, по ту сторону американизированного шоссе, лежали поля и рощи, рассеченные излучинами реки и дорогой на Алькапансинго. Тюремная вышка торчала над лесом, меж рекой и дорогой, которая исчезала вдаль, за сиреневыми склонами, словно скопированными с иллюстраций Доре к «Раю». Выше, в Куаунауаке, вдруг вспыхнули огни единственного городского кинематографа, стоявшего на крутом склоне, поодаль от домов, мигнули, погасли и вспыхнули снова.

– «No se puede vivir sin amar»⁵, – сказал мсье Ляруэль... – Как написал этот *estúpido*⁶ на стене моего дома.

³ Излеченным от алкоголизма (*франц.*).

⁴ Пьяны (*исп.*).

⁵ «Невозможно жить без любви» (*исп.*).

⁶ Глупец (*исп.*).

– Ладно, *amigo*⁷, отведите свою душу, – сказал доктор Вихиль, стоявший у него за спиной.

– ...Но, *hombre*⁸, ведь Ивонна вернулась! Этого мне никогда не понять. Она вернулась к нему! – Мсье Ляруэль подошел к столику, налил себе стакан теуаканской минеральной воды и выпил залпом. Потом сказал:

– *Salud y pesetas*.

– *Y tiempo para gastarlas*⁹, – задумчиво отозвался его друг.

Мсье Ляруэль взглянул на доктора, который, позевывая, полулежал в шезлонге, на этого мексиканца с красивым, до невероятия красивым, темным, непроницаемым лицом, на его добрые, глубокие, карие глаза, как у тех прелестных и печальных индейских детишек, которых можно увидеть в Теуантепеке (этом земном раю, где женщины работают в поте лица, а мужчины с утра до вечера купаются в речке), на его маленькие, тонкие руки с нежными запястьями, где на тыльной стороне щетинились неожиданно жесткие черные волосы.

– Я давно уже отвел душу, Артуро, – сказал он по-английски, вынул изо рта сигарету и держал ее в тонких, нервных пальцах, слишком уж щедро, он сам знал это, униженных кольцами. – И даже больше того...

Мсье Ляруэль заметил, что сигарета его погасла, и выпил еще анисовой.

– *Con permiso*¹⁰. – Доктор Вихиль с такой непостижимой ловкостью извлек горящую зажигалку, словно она уже горела у него в кармане и он исторг пламя из своего тела, – движение руки и появление огня были нераздельны; он поднес зажигалку мсье Ляруэлю. – А вы хоть раз шли в здешнюю церковь всех скорбящих? – спросил он вдруг. – Там есть статуя Пресвятой девы, покровительницы всякому, который есть один как перст.

Мсье Ляруэль покачал головой.

– Никто туда не шел. Только тот, который есть один как перст, – сказал доктор задумчиво. Он спрятал зажигалку и взглянул на часы, стремительно вскинув руку. – *Allons-nous-en*¹¹, – сказал он. – *Vámonos*¹². – Он рассмеялся коротко, словно зевнул, быстро закивал головой, подался вперед всем телом и спрятал лицо в ладонях. Потом встал у балюстрады рядом с мсье Ляруэлем, дыша всей грудью. – Ах, вот возлюбленное мной время, когда солнце уходит и всюду пение и псиный гав...

Мсье Ляруэль тоже рассмеялся. Пока они разговаривали, небо на юге грозиво потемнело; траурное шествие давно спустилось со склона. Стервятники, лениво парившие в высоте, плыли по ветру.

– Итак, встретимся около половины девятого, а покамест я зайду на часок в *cine*¹³.

– *Bueno*¹⁴. Мы еще будем увидаться в этот вечер, сами знаете где. И помните, все равно я не есть уверен, что вы завтра уедете. – Он протянул руку, и мсье Ляруэль ответил ему крепким, теплым пожатием. – Постарайтесь приходить вечером, а если нет, пожалуйста, поймите, я всегда думаю о вашем здоровье.

– *Hasta la vista*.

– *Hasta la vista*¹⁵.

...И вот мсье Ляруэль одиноко стоял у шоссе, на том самом месте, где четыре года назад он оставил позади последнюю милю долгого, безумного и прекрасного путешествия из Лос-

⁷ Друг (*исп.*).

⁸ Приятель (*исп.*).

⁹ Будьте здоровы и благополучны. И живите, дабы этим пользоваться (*исп.*).

¹⁰ С вашего позволения (*исп.*).

¹¹ Пошли (*франц.*).

¹² Пойдемте (*исп.*).

¹³ Кино (*исп.*).

¹⁴ Хорошо (*исп.*).

¹⁵ До свидания (*исп.*).

Анджелеса, и теперь сам едва верил, что действительно уедет. Но потом мысли о завтрашнем дне нахлынули, овладели им неотступно. Он постоял в нерешимости, какой дорогой идти домой, а мимо него прополз маленький переполненный автобус Tomalín: Zócalo¹⁶, спускаясь к barranca¹⁷, откуда начинался подъем к Куаунауаку. Сегодня ему не хотелось идти в ту сторону. Он перешел дорогу и направился к вокзалу. Хотя он не собирался уезжать поездом, ощущение разлуки, ее неотвратимости снова тяжким бременем легло на его душу, когда он, по-детски пугливо обходя неподвижные стрелки, перебрался через узкоколейные пути. За путями, на травянистом холме, блестели в лучах заката нефтеналивные цистерны. Перрон дремал. Рельсы были пустынные, семафоры подняты. С трудом верилось, что поезда вообще прибывают и тем более отбывают по путям этого вокзала.

КУАУНАУАК

И все-таки меньше года назад он пережил здесь расставание, которого никогда не забудет. При первой встрече ему не понравился единокровный брат консула, пришедший с Ивонной и самим консулом к нему в дом на калье Никарагуа, и теперь он понимал, что сам тоже не понравился этому Хью. Вид у Хью был какой-то странный – хотя встреча с Ивонной так потрясла Ляруэля, что он едва обратил внимание на эту странность и потом, в Париане, не сразу узнал его, – казалось, это попросту карикатура на тот образ, который любовно и не без горького разочарования рисовал ему консул. Стало быть, вот он каков, этот мальчик, про которого ему столько рассказывали много лет назад, так давно, что рассказы уже стерлись в памяти! Проведя с ним всего-навсего полчаса, Ляруэль отвернулся от него, решив, что это легкомысленный и скучный человек, записной марксист салонного типа, безусловно тщеславный и самонадеянный, но романтически бескорыстный в своих поступках. А Хью, которого консул по различным причинам не «подготовил» к встрече с мсье Ляруэлем, конечно, тем более счел, что перед ним манерный, скучный, стареющий эстет, закоренелый холостяк, неразборчивый, похотливый и ненасытный сердцеед. Но потом за три бессонные ночи они пережили целую вечность: скорбь и безысходность перед лицом невыносимого несчастья сблизили их. Когда Хью вызвал его телефонным звонком в Париан, мсье Ляруэль за несколько часов узнал о нем многое: узнал его надежды, его страхи, его самообман и отчаяние. И когда Хью уехал, он испытал такое чувство, словно потерял сына.

Не щадя своего теннисного костюма, мсье Ляруэль взбирался на холм. А все-таки, подумал он, останавливаясь наверху перевести дух, я был прав, когда «нашли» консула (хотя тут-то возникло нелепое и отчаянное положение, потому что в Куаунауаке, пожалуй, впервые не оказалось британского консула, а он был так необходим и некуда обратиться), был прав, когда настоял, чтобы Хью пренебрег всеми условностями, воспользовался тем, что полиция вопреки обыкновению не хотела его задерживать – от него чуть ли не насильно старались отделаться, хотя простая логика требовала привлечь его в качестве свидетеля при расследовании этой истории, которую теперь, оглядываясь назад, можно, по крайней мере в одном отношении, рассматривать почти как подсудное дело, – и, не теряя ни минуты, отправился на борт корабля, который, по счастью, ждал его в Веракрусе. Мсье Ляруэль обернулся и взглянул на вокзал; Хью уехал, оставив по себе пустоту. Можно сказать, пожалуй, что он похитил остатки его иллюзий. Ведь в свои двадцать девять лет Хью еще мечтал изменить мир (иначе этого не назовешь) своей деятельностью, подобно тому, как и Ляруэль в сорок два года не совсем еще оставил надежду изменить его гениальными кинофильмами, которые он создаст когда-нибудь в будущем. Но сегодня мечты эти казались нелепой гордыней. В конце концов, он уже создал гениальные фильмы, если вообще можно говорить о гениальных фильмах в прошлом. И мир, насколько

¹⁶ Томалин, центральная площадь (исп.).

¹⁷ Ущелье (исп.).

он может судить, ничуть не изменился. Но в некотором смысле Ляруэль уподобился Хью. Как и Хью, он уезжал теперь в Веракрус; как и Хью, не знал, вернется ли когда-нибудь его корабль в гавань...

Мсье Ляруэль шел через небрежно возделанные поля узкими травянистыми тропами, проторенными батраками с кактусовых плантаций по пути домой. Он всегда любил эти места, но в последний раз гулял здесь еще перед дождями. Стебли кактусов дышали пленительной свежестью; налетали порывы ветра, и зеленые растения, пронизанные вечерним солнцем, напоминали плакучие ивы, мятущиеся под этими порывами; вдали, у подножий живописных, желтых, как булки, холмов, расплескалось золотое озеро солнечного света. Но теперь вечер таил в себе что-то зловещее. На юге громоздились черные тучи. Солнце заливало поля расплавленным стеклом. В яростном полыхании заката вулканы казались свирепыми чудовищами. Мсье Ляруэль быстро шагал, помахивая ракеткой, в своих прекрасных, прочных теннисных туфлях, которые давно надо бы снять и уложить в чемодан. Он снова чувствовал страх, чувствовал, что теперь, прожив здесь столько лет, даже сегодня, в последний день накануне отъезда, он чужой в этой стране. Четыре с лишним года, почти пять, а он скитается одиноко, словно по иной планете. Конечно, уезжать от этого ничуть не легче, но вскоре он, если будет угодно богу, снова увидит Париж. Ну что же! Война его мало беспокоила, хотя, разумеется, он не находил в ней ничего хорошего. Так или иначе, кто-нибудь все равно победит. И в любом случае жизнь будет нелегкой. Правда, если союзники потерпят поражение, будет особенно тяжело. И опять-таки в любом случае собственная его война все равно не кончится.

Как непрестанно, как поразительно преображалось все окрест! Земля здесь была камениста, усеяна валунами; длинной чередой стояли засохшие деревья. Покинутый плуг, темневший на фоне заката, словно воздевал руки к небу в безмолвной мольбе; иная планета, снова подумал Ляруэль, чуждая планета, и на ней, если глянуть вдаль, за «Трес Мариас», откроются разнообразнейшие пейзажи: Котсуолд, Уиндермир, Нью-Гэмпшир, луга Эр-и-Луар, даже серые дюны Чешира, даже пески Сахары, – планета, на которой в мгновение ока можно переменить климат и, если угодно, считать, что стоишь на перекрестке трех цивилизаций; но она прекрасна, этого нельзя отрицать, хотя волею судеб ей довелось сыграть роковую и очищающую роль, прекрасна, словно земной рай.

Но что совершил он в этом земном раю? Приобрел лишь немногих друзей. Завел любовницу-мексиканку, ссорился с нею, накупил восхитительных идолов, которым поклонялись племена майя, а теперь не может даже увезти их с собой, да еще...

Мсье Ляруэль прикинул мысленно, будет ли дождь: иногда, правда нечасто, это случалось в такую пору, например в прошлом году дожди полили не вовремя. И сейчас на юге собирались грозные тучи. Ему показалось, будто он чует запах дождя, и он подумал, как чудесно было бы вымокнуть насквозь, так, чтобы сухой нитки не осталось, идти все время по этой дикой стране в белом липнущем к телу фланелевом костюме и мокнуть, мокнуть, мокнуть, купаясь под дождем. Он взглянул на тучи: словно резвые вороные кони, мчались они по небу. Вот-вот разразится яростная гроза, неожиданная, нежданная! Так и любовь, подумал он; безнадежно запоздалая любовь. Но вслед за ней душу не осенил безмятежный покой, как бывает, когда вечернее благоухание или тихий солнечный свет и тепло вновь осеняют растревоженную землю! Хотя мсье Ляруэль и без того шел быстро, он еще прибавил шагу. И пусть такая любовь поразит тебя немотой, слепотой, безумием, смертью – все равно это красивое сравнение никак не изменит твою судьбу. *Tonne de dieu*¹⁸... Если даже сумеешь выразить в словах, чему подобна безнадежно запоздалая любовь, это не утолит духовной жажды.

Город теперь оставался справа, довольно высоко над ним, потому что, уйдя из «Казино», он шел вниз по отлогому спуску. Пересекая поле, он увидел над лесом, одевавшим склон, за

¹⁸ Разрази меня гром (франц.).

темной громадой причудливого, похожего на древний замок дворца Кортеса, чертово колесо, уже иллюминированное, которое медленно вращалось на площади в Куаунауаке; ему почудилось даже, будто сюда долетает смех из ярко освещенных кабинок, и он вновь уловил красивое, слегка пьянящее пение, оно затихало, отдалялось, развеянное ветром и, наконец, совсем смолкло. Печальная американская мелодия, блюз «Сент-Луис» или что-то очень на него похожее, долетала до него, разносясь над полями, и порой мягкие волны музыки, вскипая, словно пеной, невнятным вскриками, как будто не разбивались, а только лизали городские стены и башни; потом с унылым ропотом они откатывались назад, вдаль. Мсье Ляруэль незаметно для себя свернул на проселок, который вел мимо пивоварни и вливался в дорогу на Томалин. А вот и дорога на Алькапансинго. Его обогнал автомобиль, он постоял, отвернувшись, дожидаясь, пока уляжется пыль, и ему вспомнилось, как он с Ивонной и консулом ехал мимо озера Мехиканос, которое, кажется, некогда было кратером огромного вулкана, и вновь он увидел горизонт, затуманенный пылью, и автобусы, которые со свистом настигали их, взвихривая пыль, и молодых парней, что тряслись в грузовиках, отчаянно, мертвой хваткой вцепившись в борта, закутав лица от пыли (он всегда ощущал в этом зрелище нечто возвышенное, некий символ грядущего, к которому стремится героический народ, поистине готовый к великим свершениям, потому что по всей Мексике грохочут грузовики, везущие этих молодых строителей, а они стоят, прямые, горделивые, широко и уверенно расставив ноги, и ветер треплет на них штаны), и над круглым бугром отдельное близящееся облако пыли, подсвеченное солнцем, и мглистые от пыли холмы у озера, словно островки под проливным дождем. Консул, который жил вон в том доме, за ущельем, тоже, казалось, был тогда вполне счастлив, он гулял по Чолуле, где было триста шесть церквей, две парикмахерские, одна общественная уборная и публичный дом, а потом взобрался на осыпающийся курган, который он высокопарно и с глубочайшим убеждением величал Вавилонской башней. Как великолепно скрывал он вавилонское столпотворение своих мыслей!

Два оборванных индейца, утопая в пыли, шли навстречу мсье Ляруэлю; они о чем-то спорили, глубокомысленно, словно два университетских профессора, гуляющие летним вечером по Сорбонне. Их голоса, движения их тонких, смуглых рук были исполнены поразительного благородства и изящества. Они держались царственно, как вожди ацтеков, и лица их были словно темные изваяния среди руин в Юкатане.

- ...perfectamente borracho...
- ...completamente fantástico...
- Sí, hombre, la vida impersonal...
- Claro, hombre...
- ¡Positivamente!
- Buenas noches.
- Buenas noches¹⁹.

Они исчезли в сумерках. Чертово колесо тоже скрылось из глаз; шум ярмарки, звуки музыки не приблизились, а на время совсем смолкли. Мсье Ляруэль взглянул на запад: словно рыцарь из седой старины, с теннисной ракеткой вместо щита и электрическим фонариком в кармане вместо страннической сумы, он на миг вспомнил о битвах, которые потрясали душу в те времена, когда он бродил здесь. Он намеревался свернуть вправо, на узкую дорогу, которая вывела бы его, мимо образцовой скотоводческой фермы, где на выгоне паслись лошади, принадлежащие «Казино де ла сельва», прямо к дому, на калье Никарагуа. Но, повинувшись неожи-

¹⁹ ... совершенно пьян..... абсолютно невероятно...Да, приятель, скучная жизнь...Ясное дело, приятель...Несомненно! Спокойной ночи.Спокойной ночи (исп.).

данному порыву, он свернул влево, мимо тюрьмы. В этот прощальный вечер он ощутил смутное желание побывать на развалинах дворца Максимилиана.

С юга, от Тихого океана, грозно простер огромные крыла черный архангел. Но все равно; гроза таит в себе будущее умиротворение... Его страстная любовь к Ивонне (совсем неважно, была ли она хорошей актрисой или нет, все равно; он не покривил душой, когда сказал, что во всех его фильмах она сыграла бы просто великолепно) непостижимым образом пробудила тогда в душе воспоминание о том, как он впервые шел один по лугам из Сен-Пре, сонного французского селения, где он тогда жил, с его тихими заводьями, плотинами и серыми, заброшенными водяными мельницами, и у него на глазах, медленно, волшебным, сверкая неопишущей красотой, над жнивьем полей, где волновались под ветром полевые цветы, воздвигся, осиянный солнцем, подобно тому, как из века в век представлял он взору паломников, шедших по этим самым полям, сдвоенный шпиль Шартрского собора. Любовь подарила ему мир, но слишком краткий, странно похожий на колдовское очарование Шартра, где он когда-то, давным-давно, был влюблен в каждую улочку и в то кафе, откуда он мог смотреть на собор, вечно плывущий среди облаков, очарование, которое не могла разрушить даже неотвязная мысль о том, что он бессовестно задолжал хозяину. Мсье Ляруэль быстрыми шагами шел ко дворцу. И через пятнадцать лет здесь, в Куаунауаке, это новое очарование не могли разрушить никакие покаянные мысли о судьбе, постигшей консула! В сущности, думал мсье Ляруэль, с консулом их опять сблизило на какое-то время, после отъезда Ивонны, вовсе не взаимное раскаяние. Пожалуй, по крайней мере отчасти, то была скорей жажда мнимого облегчения, вроде того, какое испытываешь, ковыряя больной зуб, и они, по молчаливому уговору, делали вид, будто Ивонна все еще здесь.

...А ведь этого было вполне довольно, чтобы побудить их обоих бежать из Куаунауака хоть на край света! Но они остались здесь. И теперь мсье Ляруэль чувствовал, как тяжесть пережитого наваливается на него извне, словно воплотясь каким-то образом в окрестные багряные горы, такие загадочные, непостижимые, хранящие в своих недрах серебряные жилы, такие далекие и в то же время близкие, такие недвижные, наделенные странной безотрадной, всеподавляющей силой, которая буквально приковала его к здешним краям и была бременем, бременем многих переживаний, но более всего – бременем скорби.

Он миновал поле, где у изгороди, на склоне стоял допотопный синий фордик, облезлый и совершенно разбитый; чтобы он не покатился вниз, под передние колеса были подложены два кирпича. Чего ты ждешь, хотелось спросить у него, потому что мсье Ляруэль испытывал некую близость, некое чувство единения с этим старым, выдавшим виды помятым автомобилем... *«Милый, зачем я уехала? Зачем ты отпустил меня?»* Эти слова в почтовой открытке, пришедшей слишком поздно, были обращены не к мсье Ляруэлю, эту открытку консул злоумышленно сунул ему под подушку, улучив мгновение, в то последнее утро, – но как вывести, когда именно улучил он мгновение? – словно он все заранее рассчитал, *зная*, что мсье Ляруэль найдет ее в ту самую секунду, когда обезумевший от горя Хью позвонит из Париана. Париан! Справа вздымались стены тюрьмы. На сторожевой вышке, едва выступавшей над стенами, двое дозорных смотрели в бинокли на восток и на запад. Мсье Ляруэль перешел по мосту реку и двинулся напрямик, через лес, к большой поляне, расчищенной, видимо, под ботанический сад. С юга стаями летели птицы: маленькие, черные, уродливые птицы, непомерно длинные, с неуклюжими хвостами, в них было что-то от чудовищных насекомых и что-то от воронья, они рыскали и подпрыгивали на лету, с мучительным трудом рассекая воздух. Сейчас, как и всякий вечер, они отчаянно хлопали крыльями, возмущая тихие сумерки, спешили к своим гнездам на темных деревьях посреди городской площади, которую они до глубокой ночи будут оглашать неумолчными, сверлящими слух, бездушными криками. Вся эта толкучая, омерзительная нежить умчалась прочь. Когда он подошел ко дворцу, солнце уже село.

Несмотря на *amour propre*²⁰, он сразу пожалел о том, что пришел сюда. Обветшалые красные колонны словно подстерегали его в полумраке, норовя обвалиться ему на голову; бассейн, где вода была подернута мутно-зеленой пленкой, а ступени лестницы сгнили, надломились и повисли, словно жаждал его поглотить. Смердные развалины часовни, в которых меж каменными плитами пола пробивалась трава, осыпающиеся, воняющие мочой стены, на которых затаились скорпионы, – искалеченные балки, унылый купол, осклизлые камни, загаженные испражнениями, – весь этот дворец, где некогда обитала любовь, казался кошмарным сном. А Ляруэлю надоели кошмары. Франция даже под австрийской личиной не должна вторгаться в Мексику, подумал он. И Максимилиан, бедняга, не был счастлив в своих дворцах. Зачем же тот роковой дворец в Триесте тоже называли Мирамар, дворец, где сошла с ума Шарлотта и все, кто там ни жил, от императрицы Елизаветы Австрийской до эрцгерцога Фердинанда, умерли насильственной смертью? Но все же как, должно быть, любили они эту землю, одинокая чета венценосных изгнанников, ведь в конце концов они тоже были всего-навсего влюбленные, вырванные из своей стихии, – и вот их рай, неведомо почему, стал у них на глазах превращаться в тюрьму и в вонючую пивоварню, и единственное величие, какое им осталось, было заключено в трагизме их судьбы. Призраки. Здесь тоже обитали призраки, как в «Казино». Один призрак и ныне еще говорил: «Нам суждено было очутиться здесь, Шарлотта. Взгляни на эту гористую дивную страну, на эти хребты, на эти долины, на эти вулканы невиданной красоты. Подумай только, все здесь принадлежит нам! Будем же добры, и трудолюбивы, и достойны этой страны!» А потом призраки ссорились: «Нет, ты любил только себя, свою несчастную судьбу. Ты нарочно все это подстроил». – «Я?» – «Ты всегда желал, чтобы с тобой нянчились, носились, обожали и опекали тебя. Ты слушался всех, кроме меня, тогда как одна я тебя любила». – «Нет, я всегда любил только тебя». – «Всегда? Всегда ты только себя и любил». – «Нет, тебя, одну тебя, поверь мне, умоляю: вспомни, ведь мы давно хотели уехать в Мексику. Помнишь?.. Да, ты права. Ты всегда была моей судьбой. Единственной, неповторимой!» И вдруг, обнявшись, они горько зарыдали.

Но это голос консула, не Максимилиана только что слышался Ляруэлю во дворце: и он вспомнил, как шел, радуясь уже тому, что сумел выбраться, после долгих блужданий, хотя бы в дальний конец калле Никарагуа, в тот день, когда натолкнулся здесь на консула с Ивонной, которые сжимали друг друга в объятиях; было это вскоре после их приезда в Мексику, и совсем иным показался ему тогда дворец! Ляруэль замедлил шаги. Ветер утих. Он расстегнул свою английскую твидовую куртку (купленную, однако, в Мехико, в магазине под названием «Высший шик», которое там произносили «Вичичик») и развязал синее в крапинку кашне. Этот вечер действовал на него угнетающе. А какая мертвая тишина царила повсюду. Теперь до слуха не доносилось ни звука, ни возгласа. Ничего, только собственные его чавкающие шаги... Вокруг ни души. И кроме всего прочего, мсье Ляруэль испытывал некоторое стеснение: брюки были ему узки. Он начал толстеть, даже растолстел уже в Мексике сверх меры, и, возможно, здесь крылась одна из тех нелепых причин, по которым кое-кто мог пустить в ход оружие, но газеты об этом даже не заикнутся. Ни с того ни с сего он вдруг взмахнул ракеткой, словно отбивая мяч: но ракетка в чехле была тяжела, не по руке, а он совсем позабыл об этом. Ферма осталась справа, домики, поля, холмы быстро тонули в сумерках. Впереди снова показалось чертово колесо, самая его верхушка безмолвно сверкнула высоко на склоне и сразу исчезла за деревьями. Дорога, вся в немыслимых ухабах и рытвинах, здесь круто шла под уклон; он приближался к мостику, перекинутому через узкое, но глубокое ущелье. На середине мостика он остановился; прикурил новую сигарету от своего окурка и, перегнувшись через перила, стал глядеть вниз. В темноте он не видел дна ущелья, но здесь настоящая пропасть, разверстая бездна! В этом смысле Куаунауак подобен пучине времен: куда ни ступишь, всюду подстерегает

²⁰ Самолюбие (франц.).

эта зияющая пропасть. Там гнездятся по ночам стервятники и обитает Молох! Когда распинали Христа, гласит рожденная у моря священная легенда, вся земля тут разверзлась от края до края, но в те времена подобное совпадение едва ли могло кого-нибудь удивить! Когда-то на этом самом мостике консул посоветовал ему снять фильм про Атлантиду. Да, вот так же стоял он, перегнувшись через перила, пьяный, но вполне владеющий собой, и речи его были связны, внятны, хоть и с некоторым налетом безумия и тревоги – то был один из случаев, когда консул выпил столько, что даже протрезвел, – и говорил он про демона бездны, про *huracán*²¹, который «так красноречиво свидетельствует о сношениях между противоположными берегами Атлантики». Бог весть, что он хотел этим сказать.

Но то был не первый раз, когда они с консулом вместе заглянули в бездну. Ведь давным-давно, целую вечность назад, – разве можно это забыть? – уже была «Преисподняя»; и давняя их встреча там как-то таинственно связана с последней встречей в Максимилиановом дворце... И когда оказалось, что консул здесь, в Куаунауаке, разве можно было считать таким уж необычайным, что его друг детства из Англии – едва ли назовешь его «школьным товарищем», – с которым он не виделся без малого четверть века, живет на одной с ним улице вот уже полтора месяца, а он об этом и не подозревал? Пожалуй, этого не скажешь; пожалуй, это просто одно из тех коварных совпадений, которые можно назвать «излюбленной потехой богов». Но как живо вспомнились теперь те давние каникулы, которые он провел в Англии, на морском побережье!

...Мсье Ляруэль родился в Лангийоне, в департаменте Мозель, но отец его, богач, чудак и заядлый филателист, перебрался в Париж, а на летние каникулы родители обычно увозили сына в Нормандию. Курсель в Кальвадосе, на берегу Ла-Манша, не был фешенебельным курортом. Скорее, наоборот. Кучка маленьких, захудалых пансионеров, безлюдные песчаные дюны на много миль окрест да холодные морские воды. И все же именно в Курсель знойным летом 1911 года приехало семейство знаменитого английского поэта Абрахама Таскерсона и с ними странный маленький сирота, англичанин родом из Индии, задумчивый пятнадцатилетний мальчуган, очень застенчивый и в то же время поразительно независимый, сочинявший стихи, причем старик Таскерсон (сам он остался дома), видимо, поощрял эти его наклонности, и плакавший порой горькими слезами, если произнести при нем слова «папа» или «мама». Жак, почти ровесник этому мальчугану, чувствовал к нему непонятное влечение; и поскольку сыновья Таскерсона – их было по меньшей мере шестеро, почти все старше и, пожалуй, примитивней юного Джеффри Фермина, хоть и состояли с ним в дальнем родстве, – сторонились мальчика, предпочитая водиться только между собой, Жак постоянно проводил с ним свободное время. Они ходили вдвоем к морю и «рыбалили» удочками, привезенными из Англии, или играли старыми гуттаперчевыми мячами для гольфа, которые решено было накануне отъезда торжественно зашвырнуть в море. Джеффри тогда был прозван Дружище. Его любила и мать Ляруэля, но называла иначе: «Этот очаровательный юный английский поэт». И Таскерсоновой мамаше приглянулся маленький француз: дело кончилось тем, что Жака пригласили на сентябрь в Англию, к Таскерсонам, у которых Джеффри предстояло жить до начала занятий в школе. Отец Жака, намеревавшийся определить сына в английскую школу и оставить его там до восемнадцати лет, дал согласие. Он был в восторге от выправки и мужественных манер Таскерсоновых сыновей... И вот мсье Ляруэль приехал в Лисоу.

Это была как бы более старая и цивилизованная разновидность Курселя на западном побережье Англии. Таскерсоны жили в большом, прекрасно обставленном доме, за домом был сад, а за садом – замечательное, усеянное буграми и впадинами поле для игры в гольф, выходившее дальним своим концом к морю. Так по крайней мере казалось; в действительности же это был эстуарий реки в семь миль шириной: белые гривы пены на западе обозначали границу

²¹ Ураган (исп.).

настоящего моря. Почти вплотную к реке подступали Кембрийские горы, мрачные, черные, в шапках облаков, кое-где со снеговыми вершинами, которые пробуждали в душе Джеффри воспоминания об Индии. В будние дни мальчикам разрешалось играть на поле для гольфа, где почти всю неделю было пустынно: только косматые желтые цветы трепетали на ветру среди кружевной тины. На берегу еще уцелели кое-какие деревья от прежней лесозащитной полосы, торчавшие среди скопища черных пней, а за ними виднелся старый, невысокий маяк, давным-давно заброшенный. Посреди эстуария был остров, на нем стояла ветряная мельница, похожая на экзотический черный цветок, и во время отлива туда можно было добраться верхом на осле. Дымы грузовых судов, шедших из Ливерпуля, низко стлались по горизонту. Всюду ощущался привольный простор. Лишь по субботам возникали помехи: хотя летний сезон уже кончился и серые водолечебницы, выстроившиеся вдоль аллей, пустовали, на поле для гольфа весь день толклись ливерпульские маклеры, играя двое на двое. С самого субботнего утра и до воскресного вечера без передышки крышу бомбардировали мячи, пущенные с поля. В такие дни они с Джеффри охотно отправлялись в город, где было так много хорошеньких, улыбчивых девушек, и бродили по солнечным улицам, подставив лицо ветру, или смотрели на набережной забавные представления с участием Пьеро. А лучше всего было взять напрокат большую яхту длиной футов в двенадцать, которой Джеффри прекрасно умел управлять, и кататься на ней по заливу.

Здесь – как и в Курселе – они с Джеффри обычно были предоставлены самим себе. И теперь Жак гораздо ясней понял, почему в Нормандии он так редко видел Таскерсонов. Эти мальчишки обладали невероятной способностью ходить без усталости. Им ничего не стоило пройти за день двадцать пять, а то и все тридцать миль. Но еще поразительней, если принять во внимание, что все они учились в школе, была их невероятная способность пить без усталости. За время пятимильной прогулки они не пропускали ни единой пивной, и каждый осушал там пинту-другую крепчайшего пива. Даже самый младший, которому еще не было и пятнадцати, поглощал за день не менее шести пинт. А если порой кого и стошнит, что ж, тем лучше. Освобождается место, и можно пить снова. Ни Жак, с его слабым желудком – хотя у себя, во Франции, он привык к вину, правда в умеренных количествах, – ни Джеффри, который питал к пиву неодолимое отвращение и к тому же учился в методистской школе, где учеников воспитывали в духе строгого воздержания, не могли бы осилить этой поистине средневековой меры. А все семейство предавалось беспробудному пьянству. Старик Таскерсон, человек грубоватый, но не злой, недавно потерял одного из сыновей, единственного, кто хотя бы отчасти унаследовал его литературный талант; по вечерам он всегда задумчиво сидел у себя в кабинете, оставив дверь приотворенной, и часами пьянствовал в одиночестве, причем на коленях у него мурлыкали любимые кошки, а вечерняя газета неодобрительно шелестела, словно порицая его сыновей, тоже часами пьянствовавших в столовой. Миссис Таскерсон, которая дома преобразилась до неузнаваемости, вероятно потому, что здесь не было особой необходимости производить благопристойное впечатление, сидела подле своих сыновей, видная собой, изрядно раскрасневшаяся, и тоже поглядывала на них с известным неодобрением, что не мешало ей, однако, усердно поить всех подряд до бесчувствия. Правда, мальчики были из молодых, да ранние... Никто еще не видел, чтобы они ходили, шатаясь, по улице, такого за ними не водилось. Чем пьяней бывали они, тем трезвей выглядели на вид, почитая это за долг чести. Обычно они щеголяли потрясающей выправкой, как гвардейцы в строю: грудь колесом, голова высоко поднята, и лишь к вечеру ощутимо замедляли шаг, однако сохраняли те «мужественные манеры», которые произвели столь неотразимое впечатление на отца Ляруэля. Правда, наутро частенько можно было видеть, как они всем семейством спят в гостиной на полу. Но это никого не смущало. В кладовке всегда стояли пузатые бочонки, и каждый мог нацедить себе пива сколько душе угодно. Эти здоровые и сильные парни обладали волчьим аппетитом. Они поглощали чудовищную мешанину из поджаренных бараньих желудков, мясного фарша и кровавых кол-

бас, какое-то невероятное блюдо из требухи, запеченной в овсяной муке, причем вся эта снедь, как опасался Жак, по крайней мере отчасти, готовилась и для него – ну, ты же знаешь, Жак, это boudin²², а Дружище, которого все чаще теперь называли «этот Фермин», сидел растерянный, отвернувшись от стола, не прикасаясь к своему стакану со светлым пивом, и застенчиво пытался поддержать разговор с мистером Таскерсоном.

Поначалу трудно было понять, как вообще «этот Фермин» попал в столь неподобающее семейство. Он не ладил с Таскерсоновыми сыновьями и даже учился в другой школе. Но было совершенно ясно, что родственники, пристроившие его сюда, сделали это с благими намерениями. Ведь Джеффри «вечно сидел, уткнувшись в книгу», а стало быть, «кузен Абрахам», сочиняющий стихи в религиозном духе, «самый подходящий человек» для того, чтобы принять в нем участие. А о его сыновьях они, вероятно, знали не больше, чем родители Жака: эти мальчишки были у себя в школе первыми по английскому языку и, разумеется, первыми во всех спортивных состязаниях; несомненно, эти славные, добросердечные ребята «как нельзя лучше» повлияют на беднягу Джеффри и он преодолеет свою застенчивость, перестанет «сохнуть» по своему отцу и своей Индии. Жак всей душой жалел бедного Джеффри. Мать его умерла в Кашмире, когда он был еще малюткой, а отец около года назад женился вторым браком, после чего исчез без следа, вызвав этим самые скандальные толки. Ни один человек в Кашмире и вообще на всем свете не знал, что же с ним случилось. В один прекрасный день он ушел в горы и сгинул там, оставив в Шринагаре Джеффри и мачеху с Хью, его единокровным братом, на руках, тогда совсем еще крошечным. Вскоре к довершению несчастья умерла и мачеха, после чего осиротевшие дети остались в Индии совсем одни. Бедный Дружище! Несмотря на все свои странности, он так трогательно ценил малейшее проявление доброты. Он бывал растроган, даже когда его называли «этот Фермин». Он всем сердцем привязался к старику Таскерсону. Ляруэль чувствовал, что по-своему он привязался ко всем Таскерсонам и готов пожертвовать за них жизнью. В нем была какая-то обезоруживающая беспомощность и в то же время беззаветная преданность. В конце концов Таскерсоновы сыновья, когда он впервые проводил в Англии каникулы, старались по-своему, как могли, с чисто английским чудовищно грубым добродушием выказать ему свою приязнь и проявить дружеское внимание. Не их вина, если ему не по силам было выпить семь пинт пива за четверть часа или пройти без отдыха полсотни миль. Самого Жака сюда пригласили отчасти благодаря им, чтобы Джеффри не скучал в одиночестве. И отчасти они действительно помогли ему преодолеть свою застенчивость. По крайней мере Дружище, а заодно и Жак выучились у Таскерсонов английскому искусству «подцеплять девчонок». Они распевали нелепую песенку из спектакля, чаще всего с французским акцентом, свойственным Жаку.

Они шли по главной аллее и горланили:

Ми ходиль шалаяйваляй побродить,
 Ми решилш шалаяйваляй говорить,
 Ми носиль шалаяйваляй котелок,
 На красавиц глядель шалаяйваляй
 Наш глазок. Оох...
 Ми началш шалаяйваляй распевать,
 Шалаяй да валяй, хоть умри,
 И кончалш шалаяйваляй помирать
 До зари.

²² Кровяная колбаса (франц.).

После этого полагалось крикнуть: «Эй, ты!» – и увязаться за той девушкой, которая оглянулась, а стало быть, выказала свою благосклонность. Если это было так и дело шло к вечеру, надлежало пригласить ее на поле для гольфа, где полно укромных или, как выражались Таскерсоны, «качественных местечек». Находились они во впадинах или в промежутках меж дюн. С дюн оползали сыпучие пески, но зато глубокие впадины падежно охраняли от ветра; самой глубокой из них была «Преисподняя». Игроки в гольф пуще смерти боялись этой Преисподней, которая разверзлась у самого дома Таскерсонов, на длинной, пологой восьмой дорожке. Она как бы стерегла площадку, правда у дальних подступов, значительно ниже и чуть левее ее. Впадина зияла в таком месте, что способный и ловкий игрок вроде Джеффри загонял туда мяч с третьего удара, а бездарность вроде Жака – примерно с пятнадцатого. Жак и Дружище обычно уговаривались позвать девушек в Преисподнюю, но, куда бы они ни пошли, само собой разумелось, что дело кончится совершенно благополучно. И вообще они «подцепляли девчонок» без тени дурных намерений. В скором времени Дружище, который, мягко выражаясь, был безгрешен, и Жак, строивший из себя искушенного греховодника, завели обычай «подцеплять девчонок» на главной аллее, вести на поле для гольфа и там на время расходиться парами, а потом снова сходить вместе. Как ни странно, у Таскерсонов было строго положено приходить домой вовремя. Ляруэль и по сей день не знал, почему они с Джеффри не условились заранее насчет Преисподней. Конечно, у него даже в мыслях не было подглядывать за Джеффри. Просто он со своей девушкой, которая ему вскоре наскучила, пересекал восьмую дорожку, и оба вздрогнули, когда из впадины донеслись голоса. При свете луны им открылось такое, что они никак не могли отвести глаз. Ляруэль охотно ушел бы прочь, но они с девушкой – едва понимая смысл происходящего в Преисподней – не могли удержаться от смеха. Любопытно, что Ляруэль не запомнил слов, которые были тогда сказаны, память его сохранила только выражение лица Джеффри при лунном свете и смешную неловкость, с какой его девушка вскочила на ноги, да еще развязную самоуверенность, с которой держались после этого он сам и Джеффри. Все вместе они отправились в пивную с каким-то странным названием, вроде «Обстоятельства переменились». Джеффри, явно впервые в жизни, предложил пойти выпить; он громко потребовал виски «Джонни Уокер» на всех, но бармен, повинуясь приказу хозяина, ничего им не подал, а выставил всех вон по несовершеннолетию. Увы, в силу известных причин дружба их не выдержала этих двух печальных, но, несомненно, ниспосланных свыше мелких неудач. Тем временем отец Ляруэля раздумал отдавать сына в английскую школу. Каникулы истекли среди томительной скуки и гроз, налетевших после осеннего равноденствия. Мальчики простились хмуро и тоскливо в Ливерпуле, откуда Жак, хмурый и тоскливый, уехал в Дувр, а потом на борту какой-то старой посуды один, словно бродячий торговец, на родину, в Кале...

Мсье Ляруэль выпрямился, мгновенно почувствовав надвигающуюся опасность, и едва успел отскочить, давая дорогу всаднику, который проскакал через мост и остановился. Темнота пала, как дом Ашеров. Конь стоял, моргая, в пляшущем свете автомобильных фар, тогда как автомобиль, большая редкость здесь, в дальнем конце калье Никарагуа, приближался со стороны города, подсакивая на ухабах, словно корабль на волнах. Всадник, совершенно пьяный, лежал пластом на крупе коня, потеряв стремяна, что было почти невероятно при их величине, и удерживался от падения, вцепившись в поводья и судорожно хватаясь за луку седла. Конь взвился на дыбы, норовистый, неукротимый – побуждаемый страхом и вместе с тем, вероятно, презрением к седоку, – и ринулся прямо на свет фар; казалось, седок падает навзничь, но каким-то чудом он лишь свесился на сторону, словно цирковой наездник, потом выпрямился в седле, качнулся, заскользил, опрокинулся назад, всякий раз рискуя упасть, но удержал поводья и уже не хватался за луку, а сжимал поводья одной рукой, по-прежнему не находя стремян, а другой рукой немилосердно лупил коня по бокам своим мачете, выхватив его из длинных, кривых ножен. Меж тем свет фар вырвал из темноты целую семью – мужчина и женщина в трауре с двумя нарядно одетыми детьми спускались по склону, и, когда всадник устремился

дальше, женщина оттащила детей на обочину, а мужчина, который шел сзади, посторонился и стоял у канавы. Шофер затормозил, выключил дальний свет, чтобы не слепить всадника, потом снова тронулся навстречу Ляруэлю и выехал на мост позади него. Это был мощный автомобиль американской марки, он двигался почти бесшумно, мягко покачиваясь на рессорах, мотор тихонько рокотал, и был явственно слышен удаляющийся стук копыт коня, который скакал вверх по едва освещенной калье Никарагуа, мимо дома консула, где в окне, конечно, горит свет, чего Ляруэлю не хотелось видеть – ведь после того, как Адаму пришлось покинуть райские кущи, в доме Адамовом еще долго горел свет, – и сорванные с петель ворота уже починили, а потом мимо школы слева, где он в тот злополучный день встретил Ивонну вместе с Хью и Джеффри, – и он представил себе, как сейчас, минуя без остановки собственный его дом, где в беспорядке громоздятся чемоданы и еще не все вещи уложены, всадник на всем скаку, очертя голову сворачивает за угол, мчится галопом по калье Тьерра дель Фуэго, и глаза у него горят безумным огнем, как у человека, которому вот-вот предстоит взглянуть в лицо смерти, летит по городу, – и в этом тоже, подумал он вдруг, в этом видении роковой одержимости, бессмысленной, но не безумной, не совсем безумной, в этом тоже незримо и таинственно присутствует консул...

Мсье Ляруэль поднялся по склону; утомившись, он остановился перевести дух чуть пониже городской площади. Но пришел он сюда не по калье Никарагуа. Обходя стороною собственный дом, он заранее свернул влево сразу за школой и взобрался по крутой, уступчатой, петливой тропе, которая огибала площадь. Люди с любопытством глядели ему вслед, когда он брел по Авенида де ла Революсьон со своей теннисной ракеткой. Если идти и дальше по этой улице, она снова выведет на американизированное шоссе, к «Казино де ла сельва»; мсье Ляруэль усмехнулся: так он мог бы вечно блуждать по замкнутой орбите вокруг своего дома. Теперь за спиной у него шумела ярмарка, но он едва взглянул в ту сторону. Город, даже ночью расцвеченный яркими красками, сверкал огнями, ослепительными, но редкими, как огни судов в гавани. По мостовым плыли зыбкие тени. Деревья, разбросанные по затененной земле, казалось, были засыпаны сажей, и ветки их, обремененные этой тяжестью, клонились к земле. Маленький автобус опять с грохотом проехал мимо, теперь уже в обратную сторону, и резко затормозил на крутом уклоне, но стоп-сигналы не зажглись. Последний автобус на Томалин. Ляруэль миновал дом доктора Вихиля: *Dr. Arturo Díaz Vigil, Médico Cirujano y Partero, Facultad de México, de la Escuela Médico Militar, Enfermedades de Niños, Indisposiciones nerviosas*²³, – как выгодно это отличается своей деликатностью от вывесок, которые видишь в *mingitorios*²⁴! *Consultas de 12 a 2 y de 4 a 7*²⁵. Ну, тут уж, пожалуй, есть некоторое преувеличение, подумал он. Вокруг шныряли мальчишки-газетчики, предлагая «Куаунауак нуэво», скверную проальмасановскую газетку, издаваемую, как говорили, этим отвратительным Союзом милитаристов. *Un avión de combate francés derribado por un caza alemán. Los trabajadores de Australia abogan por la paz. ¿Quiere Vd. –* вопрошал плакат, вывешенный в витрине, – *vestirse con elegancia y a la última moda de Europa y los Estados Unidos?*²⁶

Мсье Ляруэль продолжал путь вниз по склону. Подле казарм стояли двое часовых в шлемах французского образца и в вылинявших, но некогда великолепных красновато-серых мундирах, крест-накрест перетянутых зелеными портупьями. Он перешел на другую сторону улицы. Подходя к кинематографу, он почуял что-то неладное, какое-то странное, необычное волнение, лихорадочную суету. Внезапно и резко похолодало. Кинематограф был погружен во

²³ Доктор Артуро Диас Вихиль, врач-хирург и акушер, окончил университет в Мехико, а также военно-медицинское училище, детские болезни, нервные расстройства (исп.).

²⁴ Уборных (исп.).

²⁵ Прием с 12 до 2 и с 4 до 7 (исп.).

²⁶ Французский военный самолет сбит немецким истребителем. Трудящиеся Австралии борются за мир. А вы не желаете одеваться элегантно и по последней моде Европы и Соединенных Штатов? (исп.)

тému, словно сеанс отменили. Однако изрядная толпа, по-видимому не очередь, а часть зрителей, высыпавших на улицу из зала, собралась посреди мостовой и под арками, слушая установленный на грузовике громкоговоритель, который изрыгал «Марш Вашингтон пост». Вдруг грянул гром и уличные фонари погасли. А огни кинематографа погасли давно. Сейчас хлынет дождь, подумал мсье Ляруэль. Но у него уже пропала охота вымокнуть. Он прикрыл ракетку полкой и побежал. Неистовый ветер промчался по улице, кружа в воздухе старые газеты и задувая керосиновые лампы подле дверей хлебных лавок; над гостиницей напротив кинематографа ослепительно вспыхнул зигзаг молнии, и снова прогрехотал гром. Ветер выл, люди бежали, спеша укрыться от ливня, многие смеялись. Ляруэль услышал позади, в горах, громовые раскаты. Он добежал до кинематографа как раз вовремя. Дождь уже лил как из ведра.

С трудом переводя дух, он стоял под навесом у подъезда, походившего скорей на ворота какого-нибудь унылого рынка. Вокруг толпились крестьяне с корзинами. Кассы мгновенно опустели, только какая-то обезумевшая курица норовила протиснуться в щель приотворенной двери. Люди чиркали спичками, светились карманные фонарики. Грузовик с громкоговорителем тронулся и сразу исчез за пеленой дождя, разрываемой ударами грома. *Las Manos de Orlac*, возвещала афиша, 6 y 8.30. *Las Manos de Orlac, con Peter Lorre*²⁷.

Уличные фонари вспыхнули снова, но кинематограф был по-прежнему погружен в темноту. Ляруэль нашарил в кармане сигарету. «Руки Орлака»... Как сразу, в мгновение ока, напомнило это давнишние кинокартины, подумал он, и те времена, когда ему запоздало довелось сесть на студенческую скамью, времена «Пражского студента», и Вине, и Вернера Краусса, и Карла Грюне, и «УФА», когда побежденная Германия завоевывала уважение культурного мира своими фильмами. Но в «Орлаке» тогда играл Конрад Вейдт. И любопытно, что тот фильм был ничуть не лучше современной голливудской стряпни, которую он видел несколько лет назад то ли в Мехико, то ли – мсье Ляруэль огляделся вокруг – в этом самом кинематографе. Да, вполне возможно. Но кажется, даже Питеру Лорре не удалось спасти фильм, и нет охоты глядеть его еще раз... А все же какую запутанную и долгую повесть, повесть о жестокости и о святине, словно жаждет поведать эта афиша с изображением убийцы Орлака! Музыкант с окровавленными руками убийцы: это свидетельство, некая тайнопись, скрывающая в себе дух эпохи. Поистине это Германия предстает здесь перед ним, отвратительная, гниющая, в злобно карикатурном виде... Или быть может, волею нелепой, разыгравшейся фантазии это он сам, Ляруэль?

Перед ним стоял директор кинематографа и с той же молниеносно-быстрой, скромно-наигранной предупредительностью, какая была свойственна доктору Вихилию и вообще латиноамериканцам, подносил ему зажженную спичку, прикрывая ее от ветра ладонями; волосы его, на которые не упало ни капли дождя, блестели, словно отлакированные, и сильный запах одеколона свидетельствовал о том, что сегодня, как и всякий день, он уже посетил *reluquería*²⁸; одет он был безупречно, в полосатые брюки и черный сюртук, *miu correcto*²⁹, со шегольством, присущим мексиканцам его круга всегда, даже под угрозой светопредставления. Он отбросил спичку скупым, рассчитанным движением, которое одновременно означало приветственный жест.

– Пойдемте выпьем, – предложил он.

– Сезон дождей держится стойко, – сказал Ляруэль с улыбкой, меж тем как они, работая локтями, прокладывали себе путь в маленький бар, примыкавший к кинематографу, но расположенный в отдельной пристройке. Бар этот, известный под названием «*Cervecería XX*»³⁰, а

²⁷ «Руки Орлака» в 6 и 8.30. «Руки Орлака» с участием Питера Лорре (исп.).

²⁸ Парикмахерскую (исп.).

²⁹ Безукоризненно (исп.).

³⁰ «Пивная XX» (исп.).

на языке доктора Вихилия именуемый «сами знаете, где», был освещен свечами, воткнутыми в бутылки и расставленными на стойке да кое-где по столикам у стен. Все столики были заняты.

– Черт, – сказал директор полушепотом, деловито и зорко озираясь: они примостились, не садясь, у конца короткой стойки, где было два свободных места. – Я весьма сожалею, но зрелищное мероприятие мы временно вынуждены прервать. Произошло перегорание проводов. Черт знает что. Еженедельно случается непременно повреждение электричества, чтоб ему лопнуть. На прошлой неделе вышло неизмеримо серьезней, полный кошмар. А у нас тут, вообразите, была труппа актеров из Панама-Сити, приезжала на гастроли в Мексику.

– Вы не возражаете, если я позволю себе...

– Отнюдь, – отвечал со смехом его собеседник.

Мсье Ляруэль перед этим расспрашивал сеньора Бустаменте, которому удалось наконец привлечь к себе внимание бармена, видел ли он здесь в свое время «Орлака», а если видел, считает ли он, что фильм этот снова имеет успех.

– ¿Uno?³¹

Мсье Ляруэль поколебался.

– Tequila, – сказал он и тут же поправился: – No, anís... anís, por favor, señor³².

– Y una... ah... gaseosa³³, – сказал бармену сеньор Бустаменте. – No, señor³⁴. – Все такой же озабоченный, он с видом знатока ощупал слегка подмокшую твидовую куртку мсье Ляруэля. – Compañero³⁵, фильм не имеет у нас успеха. Мы просто взяли его повторно. А еще на прошлых днях я тут крутил последнюю кинохронику: право слово, это впервые кадры войны из Испании опять на экране после перерыва.

– Но, я вижу, вы получаете и новые фильмы. – Мсье Ляруэль (он только что отказался от места в администраторской ложе на следующий сеанс, если сеанс этот вообще состоится) не без иронии покосился на висевший за стойкой огромный крикливый рекламный плакат, где красовалась немецкая кинозвезда, которая, однако, лицом смахивала на испанку: *La simpatísima y encantadora María Landrock, notable artista alemana que pronto habremos de ver en sensacional film*³⁶.

– Un momentito, señor. Con permiso...³⁷

Сеньор Бустаменте вышел, но не через ту дверь, в которую они вошли, а через боковую, с отдернутой занавеской позади стойки, сразу направо, ведущую в зрительный зал. Мсье Ляруэль со своего места мог свободно заглянуть внутрь. Из зала, словно сеанс и не прерывался, долетали влекущие звуки, гомон детей и звонкие крики разносчиков, предлагавших хрустящий картофель и всякую снедь. Просто не верилось, что зал почти опустел. Приблудные псы черными пятнами маячили меж рядов. Зал был освещен, правда довольно тускло: лампы изливали с потолка мутноватое, изжелта-красное мерцающее зарево. На экране, по которому тянулось бесконечное факельное шествие теней, застыла едва различимая, диковинно перевернутая надпись с извинением за прерванное «зрелищное мероприятие»; в администраторской ложе какие-то трое мужчин прикурили от одной спички. За последними рядами, где в отраженном свете брезжила надпись «Salida»³⁸ над дверью, он разглядел сеньора Бустаменте, который поспешно шел к себе в кабинет. На улице гремел гром и хлестал дождь. Мсье Ляруэль потяги-

³¹ Одну? (исп.)

³² Текилы. Нет, анисовой... анисовой, будьте добры, сеньор (исп.).

³³ И одну... э... газированной воды (исп.).

³⁴ Нот, сеньор (исп.).

³⁵ Товарищ (исп.).

³⁶ Прелестнейшая и очаровательная Мария Ландрок, знаменитая немецкая актриса, которую мы вскоре увидим в поистине sensationном фильме (исп.).

³⁷ Минутку, сеньор. С вашего позволения... (исп.)

³⁸ Выход (исп.).

вал разбавленную водой анисовую настойку и ощутил сперва болезненный озноб в желудке, а потом тошноту. Собственно говоря, это вовсе не похоже на абсент. Правда, усталость исчезла, ему захотелось есть. Уже семь часов. Но они с Вихилем, вероятно, пообедают позже в «Гамбринусе» или у Чарли. Он выбрал на блюде дольку лимона и посасывал ее в задумчивости, разглядывая календарь, который висел за стойкой рядом с портретом загадочной Марии Ландрок и был украшен изображением встречи Кортеса и Монтесумы в Тенохтитлане: *El último Emperador Azteca*, – гласила надпись внизу, – *Moctezuma y Hernan Cortes representativo de la raza hispana, quedan frente a frente: dos razas y dos civilizaciones que habían llegado a un alto grado de perfección se mezclan para integrar el núcleo de nuestra nacionalidad actual*³⁹. А сеньор Бустаменте уже возвращался, пробираясь сквозь толчею перед занавеской и поднимая над головой книгу...

Мсье Ляруэль с мучительным чувством долго вертел книгу в руках. Потом положил ее перед собой и отхлебнул анисовки.

– Bueno, muchas gracias, señor⁴⁰, – сказал он.

– De nada⁴¹, – отозвался сеньор Бустаменте, понизив голос; он махнул рукой стремительно, как бы охватывая этим жестом и важного бревнеподобного официанта, приближавшегося к ним с подносом, на котором высилась гора шоколадных конфет. – Не припомню, как много прошло, два года или три это aquí⁴².

Мсье Ляруэль еще раз взглянул на титульный лист книги, лежавшей перед ним, и закрыл ее. Над головами у них барабанил по крыше дождь. Полтора года назад дал ему консул почитать этот замусоленный коричневый томик елизаветинских пьес. К тому времени минуло уже месяцев пять, как Джеффри с Ивонной расстались. А вернуться ей предстояло через полгода. Они тогда уныло и бесцельно бродили по саду консула, меж роз, камнеломок и кустов с цветами, похожими на «рванные презервативы», как выразился консул, бросив на него взгляд, исполненный дьявольского коварства и вместе с тем почти официальной торжественности, который, как теперь ему казалось, говорил: «Я знаю, Жак, ты эту книгу мне не вернешь никогда в жизни, но я именно для того, может, и даю ее тебе почитать, дабы ты когда-нибудь пожалел о том, что не вернул ее. Поверь, я-то тебя прошу, только будешь ли ты в силах сам себя простить? Не просто потому, что ты ее не вернул, а по другой причине, ведь книга эта уже станет символом отныне безвозвратно потерянного». Мсье Ляруэль взял тогда книгу. Она была ему нужна, потому что он втайне лелеял замысел вернуться во Францию и снять там фильм по мотивам легенды о Фаусте, но в современном духе; однако до этой самой минуты он даже ее не открыл. И хотя потом консул несколько раз о ней спрашивал, он хватился ее в тот же день, когда, по всей видимости, позабыл в зале кинематографа. Мсье Ляруэль прислушался к шуму дождя в водостоках за единственной зарешеченной дверью «Cervecería XX», в дальнем левом углу, где был выход на боковую улицу. Удар грома внезапно потряс стены и рассыпался эхом, словно обрушилась груда угля.

– Сеньор, – сказал он неожиданно, – а ведь это не моя книга.

– Знаю, – отозвался сеньор Бустаменте, понизив голос почти до шепота. – Кажется, она вашего amigo⁴³. – Он кашлянул смущенно, едва слышно. – Вашего друга, этого *мужчины*, который... – Видимо, заметив улыбку, скользнувшую по лицу мсье Ляруэля, он тихонько поправился: – Нет, я хотел сказать, этого мужчины, который имел голубые глаза. – И словно все еще было не вполне ясно, о ком идет речь, он тронул себя за подбородок и словно погладил

³⁹ Последний вождь ацтеков Монтесума и Эрнан Кортес, представитель испанцев, встретились лицом к лицу: два народа и две цивилизации, которые достигли высшего совершенства, слились, дабы образовать ядро нашей современной нации (*исп.*).

⁴⁰ Хорошо, сеньор, большое спасибо (*исп.*).

⁴¹ Не за что (*исп.*).

⁴² Здесь (*исп.*).

⁴³ Друга (*исп.*).

несуществующую бороду. – Ну, ваш amigo... э-э... сеньор Фермин. El cónsul⁴⁴. Который был americano⁴⁵.

– Нет. Он был не американец. – Мсье Ляруэль старался говорить погромче. Это было неудобно, потому что все разговоры в баре смолкли, и мсье Ляруэль слышал, что в зрительном зале тоже водворилась странная тишина. Свет там погас теперь вовсе, и он всматривался через плечо сеньора Бустаменте в кромешную тьму за отдернутой занавеской, пронзаемую вспышками карманных фонариков, словно зарницами, а голоса торговцев примолкли, дети перестали кричать и смеяться, поредевшая публика сидела празднично и скучающе, но терпеливо перед темным экраном, который вдруг осветился, наводненный безмолвными, чудовищными тенями каких-то гигантов, секир и птиц, потом снова погас, а зрители на балконе справа, которые поленились спуститься оттуда или хотя бы пошевелинуться, каменели, словно барельефы на стене, суровые, усатые люди, похожие на воинов, ожидающие возобновления зрелища, жаждущие увидеть руки убийцы, обгаренные кровью.

– Не американец? – тихо переспросил сеньор Бустаменте. Он плотнул газировки, тоже поглядел в темный зал, потом снова принял озабоченный вид и обвел глазами бар. – Но тогда был ли он настоящий консул? Я ведь помню, он много здесь сидел пьяный и часто, бедняга, не имел на себе носков.

Мсье Ляруэль отрывисто рассмеялся.

– Да, он был здесь британским консулом.

Они заговорили вполголоса по-испански, и сеньор Бустаменте, потеряв надежду, что в ближайшие десять минут дадут электричество, согласился выпить пива, а мсье Ляруэль заказал себе лимонаду.

Однако он не успел рассказать обходительному мексиканцу о консуле. В кинематографе и в баре снова тускло засветились лампы, но сеанс, правда, не возобновился, и мсье Ляруэль сел в одиночестве за столик, освободившийся в углу, прихватив с собой еще рюмку анисовой. Теперь уж у него обязательно расстроится желудок: так неумеренно пить он стал только за последний год. Он сидел в оцепенении, положив на столик закрытый сборник елизаветинских пьес, и глядел на теннисную ракетку, прислоненную к спинке стула напротив, занятого для доктора Вихиля. У него было такое чувство, словно он лежит в ванне, где нет ни капли воды, отупевший, почти мертвый. Пойди он сразу домой, все вещи были бы теперь уложены. Но у него даже не хватило духу проститься с сеньором Бустаменте. А дождь все шумел над Мексикой, неожиданный и негданный в это время, темная пучина разверзлась вокруг, грозя поглотить его дом на калье Никарагуа, его твердыню, в которой он тщетно надеялся спастись от второго всемирного потопа. Ночь восхождения Плеяд! Но в конце концов кому есть дело до какого-то консула? Сеньор Бустаменте, который выглядел моложе своих лет, еще помнил времена Порфирио Диаса, те времена, когда в каждом американском городке вдоль границы с Мексикой обреталось по «консулу». Мексиканских консулов можно было увидеть даже в деревушках, удаленных от границы на сотни миль. Предполагалось, что консулы должны блюсти торговые интересы обеих стран, – разве не так? Но Диас держал консулов в городках Аризоны, которые за год не торговали с Мексикой и на десять долларов. Разумеется, то были не консулы, а обыкновенные шпионы. Сеньор Бустаменте знал это, потому что до революции его отец, либерал и соратник Понсиано Арриаги, три месяца отсидел за решеткой в Дугласе, штат Аризона (и все же сам сеньор Бустаменте намеревался голосовать за Альмасана), по милости Диасова консула. А если так, обронил он в разговоре, очень миролюбиво и, пожалуй, не вполне серьезно, разве нельзя допустить, что сеньор Фермин был из таких же консулов, правда не мексиканский консул и не совсем той породы, что все прочие, а английский консул, который едва ли мог

⁴⁴ Консул (исп.).

⁴⁵ Американец (исп.).

утверждать, будто он охранял торговые интересы Великобритании там, где нет ни английских интересов, ни англичан, тем более что Англия формально разорвала дипломатические отношения с Мексикой.

Видимо, сеньор Бустаменте подозревал, что мсье Ляруэль попросту попался на удочку и сеньор Фермин в самом деле занимался шпионажем, но в шпионах «служил тайком», или, как это у него прозвучало, «жил пауком». А все-таки нет на свете народа человеколюбивей и отзывчивей мексиканцев, даже если они отдают свои голоса Альмасану. Сеньор Бустаменте склонен был пожалеть консула, хоть тот и «жил пауком», он жалел от всего сердца этого беднягу, одинокого, сиротливого, трепетно безутешного, который, бывало, сидел тут всякий вечер и пил горькую, покинутый своей женой (но ведь она вернулась к нему, едва не крикнул тут мсье Ляруэль, это поразительно, невероятно, и все же она вернулась!), да еще, помнится, ходил без носков, покинутый, видимо, и своим отечеством, скитался с непокрытой головой, *desconsolado*⁴⁶ и обезумевший, по улицам, и всюду его подстерегали другие пауки, хотя он даже не мог знать этого с уверенностью, но они, будь то человек в темных очках, которого так легко принять за обыкновенного уличного зеваку, или другой, слоняющийся за углом и похожий на простого пеона, или же плешивый бездельник с серьгами в ушах, бешено раскачивающийся в скрипучем гамаке, караулили все перекрестки, все входы и выходы, хотя этому теперь уже не верят даже мексиканцы (потому что это неправда, вставил мсье Ляруэль), но все же это вполне возможно, и отец сеньора Бустаменте подтвердил бы это, да и самому убедиться недолго, стоит только захотеть, и еще его отец подтвердил бы, что, если б мсье Ляруэль вздумал переправиться через границу, скажем, в кузове грузовика, где перевозят скот, «они», уж будьте покойны, пронюхали бы об этом еще до его прибытия и уже порешили бы, что «им» с ним делать. Конечно, сеньор Бустаменте был едва знаком с консулом, но у него глаз зоркий и наметанный, да к тому же в городе знали консула в лицо, и очень похоже было, по крайней мере в последний год, помимо того, понятное дело, что он всегда бывал *muuy borracho*⁴⁷, будто у этого человека не жизнь, а сплошной ужас. Один раз он прибежал в бар «Эль Боске» к старухе Грегорио, той, что уже овдовела, и крикнул: «Убежище!» – видимо, в том смысле, что за ним гонятся, и вдова, напугавшись еще больше, чем он сам, до вечера прятала его в задней комнате. Рассказала же про это не вдова, а сам сеньор Грегорио, он в ту пору был еще в живых, и брат его работал у сеньора Бустаменте садовником, а сеньора Грегорио сама была наполовину не то англичанка, не то американка, и ей потом пришлось держать ответ перед сеньором Грегорио и перед его братом Бернардино. Но если консул и «жил пауком», теперь уж это позади и можно его простить. В конце концов, сам-то он был *simpático*⁴⁸. Разве не видел он своими глазами, как однажды консул вот здесь, у этой самой стойки, вывернул карманы и все деньги отдал нищему, которого схватили полицейские?

... Но при этом консул был вовсе не трус, вмешался тут мсье Ляруэль, пожалуй не совсем кстати, или, во всяком случае, не дрожал за свою жизнь. Напротив, он был настоящий храбрец, можно сказать даже герой, весьма отличившийся во время прошлой войны, верный сын своего отечества, удостоенный почетной медали. При всех своих недостатках это был человек неплохой. Мсье Ляруэль почему-то всегда чувствовал, что в нем заложено глубокое стремление к добру. Да ведь сеньор Бустаменте вовсе и не говорил никогда, что он был трус. В Мексике, пояснил сеньор Бустаменте почти с благоговением, быть трусом и бояться за свою жизнь это совсем не одно и то же. Само собой разумеется, консул был хороший, *hombre noble*⁴⁹. Но разве все эти превосходные качества и былые заслуги, о которых говорил мсье Ляруэль, не могли пригодиться ему именно при исполнении в высшей степени опасных обязанностей

⁴⁶ Безутешный (*исп.*)

⁴⁷ Очень пьян (*исп.*).

⁴⁸ Славный (*исп.*).

⁴⁹ Благородный человек (*исп.*).

«паука»? По-видимому, тщетно было бы пытаться втолковать сеньору Бустаменте, что бедняга консул ухватился за это место как за соломинку, что поначалу он хотел стать правительственным чиновником в Индии, а на дипломатическую службу попал волею случая и не сделал карьеры, получая назначения в разные консульства, все дальше и дальше в глушь, пока наконец ему не отдали синекуру в Куаунауаке, где, пожалуй, менее всего следовало ожидать, что он доставит заботы Британской империи, в которую он, как подозревал мсье Ляруэль, по крайней мере в глубине души истово веровал.

Но почему все это случилось? – спросил он теперь себя. ¿Quién sabe?⁵⁰ Он рискнул заказать еще рюмку анисовой и едва пригубил ее, как тотчас же картина, вероятно весьма далекая от истины (во время войны мсье Ляруэль был артиллеристом и остался в живых, невзирая на то, что довольно долго служил под непосредственным началом у Гийома Аполлинера), словно по волшебству возникла у него перед глазами. Мертвый штиль по всему курсу, но пароход «Самаритянин», которому следовало идти этим курсом, почему-то отклонился далеко к северу. Право же, если пароход этот совершал рейс из Шанхая в Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, с грузом сурьмы, ртути и вольфрама, то плыл он весьма необычным путем. С какой стати понадобилось ему, например, выйти в Тихий океан через пролив Бунго в Японии к югу от Сикоку, а не через Восточно-Китайское море? Вот уж который день, словно заблудшая овца, скитающаяся по бескрайним зеленым водным равнинам, он лавировал в виду разных экзотических островов, лежавших далеко в стороне от его курса. Соляной столб и Архиепископ. Росарио и Серный остров. Волкано и Св. Августин. Где-то между Гай-Рок и Эфросайн-Риф с мостика впервые заметили перископ и был дан самый полный назад. А когда подводная лодка всплыла, пароход лег в дрейф. Безоружный торговый транспорт «Самаритянин» не оказал сопротивления. Но еще прежде, чем к его борту успел подойти десантный катер, он стал неузнаваем. Чудесным образом мирный транспорт оборотился огнедышащим драконом. Подлодка даже не успела погрузиться. Вся ее команда была взята в плен. «Самаритянин», потерявший в этой стычке своего капитана, продолжал путь, бросив беспомощную, пылающую подлодку, словно недокуренную сигару, на безбрежной глади Тихого океана.

И консул какими-то судьбами, неведомыми мсье Ляруэлю – ведь Джефффри никогда не служил на торговом флоте, он был членом яхт-клуба и еще плавал на спасательном судне, а потом его произвели в морские офицеры, и был он лейтенант или, как знать, к тому времени уже капитан-лейтенант, – сыграл не последнюю роль в этой военной хитрости. И за это или за храбрость, проявленную во время операции, его наградили не то английским орденом «За боевые заслуги», не то почетным крестом.

Но, очевидно, не все прошло гладко. Хотя команда подлодки целиком была взята в плен, однако, когда «Самаритянин» (таково было лишь одно из многих названий этого корабля, которое консул, правда, предпочитал всем прочим) вернулся в свой порт, на борту не оказалось ни одного из пленных офицеров. Этих немецких офицеров постигла загадочная и весьма печальная участь. Ходили слухи, что кочегары самовольно уволокли их и сожгли в топках «Самаритянина».

Мсье Ляруэль долго об этом раздумывал. Консул любил Англию, а значит, не исключено – хотя и маловероятно, поскольку в те времена этого скорее можно было ожидать от людей, которые отсиживались в тылу, – что по молодости лет он, подобно многим, воспылал к врагу смертельной ненавистью. Но он был человеком благородной души, и едва ли кому-нибудь могло прийти в голову, что это он отдал кочегарам «Самаритянина» приказ бросить немцев в топку. И никто мысли не допускал, что такой приказ, будь он даже отдан, могли выполнить. Но куда не денешься, немцы сгорели заживо, и не имело смысла утверждать, что туда, мол, им и дорога. Кто-то должен был за это ответить.

⁵⁰ Кто знает? (исп.)

И до того как консула представили к награде, его судил трибунал. Судьи вынесли оправдательный приговор. Мсье Ляруэль решительно не мог понять, почему судили именно его, а не кого-нибудь другого. Но все-таки легко было предположить, что консул с тех пор строил из себя лжестрадальца, эдакого лорда Джима, только еще более слезливого, жил в добровольном изгнании, оплакивал, несмотря на почетную награду, свою погибшую честь, терзался своей тайной и воображал, что это клеймо будет лежать на нем до гробовой доски. Но в действительности все было совсем не так. Очевидно, никакое клеймо не лежало на нем. И он охотно делился своими воспоминаниями с мсье Ляруэлем, который много лет назад прочитал в «Пари-суар» сдержанное сообщение об этом случае. Консул даже позволил себе чудовищную шутку. «Право, – заявил он, – немцев не каждый день сжигают заживо в паровой топке». За последние месяцы он только раз-другой, в пьяном виде, внезапно, к удивлению мсье Ляруэля, не только признавал свою вину, но твердил, что его всегда терзало горькое раскаяние. Мало того, он и на этом не останавливался. Кочегары вообще не причастны к делу. Не было и речи, будто они выполняли какой-то приказ. Играя бицепсами, он со злобной иронией утверждал, что управился сам, собственными руками. Но к тому времени бедняга консул дожился до того, что вконец изолгался и уподобился Дон Кихоту, изошряясь в немыслимых рассказах. Не в пример лорду Джиму он теперь мало заботился о своей чести, и разговоры о немецких офицерах служили лишь поводом для того, чтобы потребовать еще бутылочку мескаля. Мсье Ляруэль прямо сказал об этом консулу, и между ними произошла ссора, смешная до нелепости, после чего снова возникло отчуждение – хотя прежде гораздо более жестокие обиды не порождали отчуждения между ними, – и это продолжалось до конца – поистине, перед самым концом все было ужасно, невыносимо, хуже некуда, – как много лет назад в Лисоу.

Мне лучше в бездну кинуться стремглав,
Земля, развернись! Но меня не примет!⁵¹

Мсье Ляруэль открыл наугад томик елизаветинских пьес и на миг утратил всякое ощущение реальности, созерцая эти слова, способные, казалось, увлечь в пучину и собственную его душу, дабы его самого постигла грозная судьба, которую Фауст у Марло предрекает в минуту отчаяния. Но Фауст говорил не совсем так. Ляруэль внимательно перечитал это место. Фауст сказал: «Мне лучше в бездну ринуться стремглав» и «Нет, меня не примет». Это не так уж плохо. В подобных обстоятельствах ринуться лучше, чем кинуться. На коричневом кожаном переплете была вытеснена золотом безликая статуэтка, тоже словно готовая куда-то ринуться, с факелом, похожим на голову священного ибиса с длинной шеей и раскрытым клювом. Мсье Ляруэль вздохнул, ему стало стыдно за себя. Что вызвало это видение, быть может, трепетный отблеск свечей, смешанный с тусклым, хотя уже не таким тусклым, как прежде, светом электрических ламп, или некое соприкосновение, как любил выражаться Джефф, субнормального мира с абнормально подозрительным? Ах, консул сам увлекался этой нелепой игрой: гадание по книге... – «А какие чудеса я совершал, – это может подтвердить не только вся Германия. Входит Вагнер, один...»⁵² «Я фот тэпэ што скажу, Ханс. Коралль ис Кандии, плакотаря погу, набит сахаром, минталем, патистом и тысячей других расных расностей»⁵³. Мсье Ляруэль закрыл книгу на комедии Деккера и, поймав на себе взгляд бармена, который, перекинув полотенце через руку, смотрел на него с молчаливым удивлением, зажмурился, снова открыл книгу,

⁵¹ Неточная цитата из «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера Марло, акт V, сц. 2.

⁵² «Трагическая история доктора Фауста», акт V, сц. 2. Из комедии Томаса Деккера «Праздник башмачника», акт III, сц. 1, перевод М. Яхонтовой.

⁵³ Из комедии Томаса Деккера «Праздник башмачника», акт III, сц. 1, перевод М. Яхонтовой.

покрутил пальцем в воздухе и решительно ткнул наугад в какое-то место, подставив страницу под свет.

Побег, возраставший гордо, отсечен,
И сожжена ветвь лавра Аполлона —
Пал в бездну ада сей ученый муж!
На гибель Фауста взирайте все!⁵⁴

Потрясенный, мсье Ляруэль положил книгу на стол и одной рукой закрыл ее, а другой подобрал сложенный листок, который выпал из книги и валялся на полу. Держа листок двумя пальцами, он повертел его перед глазами, потом развернул. «Отель „Белья виста“», – прочитал он. И в самом деле, в книгу были заложены два тонких бланка этого отеля, длинные, но очень узкие, с обеих сторон испещренные неразборчивыми карандашными каракулями. На первый взгляд трудно было догадаться, что это письмо. Но даже при тусклом, неверном свете не оставалось сомнений, что это почерк консула, неразборчивый и вместе с тем размашистый, что он был совершенно пьян и его рукой написаны эти «е», подобные греческим, «д», смахивающие на башенные зубцы, «т», унылые, словно придорожные кресты, на каждом как бы распято все слово, и сами слова будто падают с крутой горы, но иные буковки все же противостоят падению, упорствуют, взбираются наперекор всему по крутизне. Мсье Ляруэль похолодел. Он понял теперь, что это действительно письмо, хотя писавший, безусловно, не собирался, а возможно, даже был физически не в состоянии его отправить.

«...Ночь: вновь и вновь ночные борения со смертью, вся комната сотрясается от адской музыки, обрывки кошмарных сновидений, голоса за окном, и несметные призрачные толпы, стекаясь отовсюду, повторяют с презрением мое имя, и тьма играет на клавикордах. Как будто мало подлинных звуков в этих ночах, словно убеленных сединами. Как не похоже это на оглушающий шум больших американских городов, на стоны исполинов, которые корчатся, силясь разорвать свои оковы. Нет, это вой приبلудных псов, петушье пение, всю ночь напролет возвещающее рассвет, барабанный бой, стенания, которые замрут потом белыми пернатыми стаями на телеграфных проводах, над чернеющими садами или одинокими птицами на ветвях яблонь, вековая, бессонная скорбь великой Мексики. А моя скорбь влечет меня под темные своды древних монастырей, и я несу повинную голову в кельи, и под сень ковровых полов, и под милосердный покров чудовищных вертепов, где пьянствуют печальноликие бродяги и безногие нищие, встречая зарю, сияющую холодной бледно-желтой красой, которая является взору на пороге смерти. И когда ты покинула меня, Ивонна, я поехал в Оахаку. Нет в мире названия печальней. Поведать ли тебе, Ивонна, как ужасен был путь туда через пустыню, по узкоколейке, на верхней полке вагона третьего класса, как плакал ребенок, которого мы с его матерью вылечили, растерев ему животик текилой из бутылки, которую я прихватил с собой, как я снял номер в той самой гостинице, где мы некогда были счастливы, но внизу, на кухне, резали какую-то живность, и я бежал от шума на улицу под ослепительный свет фонарей, а потом, ночью, стервятник сидел у меня на умывальнике? Нужно быть титаном, чтобы вытерпеть такие ужасы! Но нет, тайны мои принадлежат потустороннему миру, и я должен немотствовать как могила. Вот почему я кажусь себе порой великим исследователем, первооткрывателем неведомой страны, откуда нет возврата и нельзя рассказать о ней другим людям: а имя этой стране – ад.

Конечно, ад этот не в Мексике, он в сердце моем. И сегодня я, как обычно, был в Куаунауаке, когда от моих поверенных пришло письмо, в котором они извещают меня, что ты со мной развелась. Вот что навлек я на себя. И пришла еще весть: Англия разрывает дипломати-

⁵⁴ «Трагическая история доктора Фауста», акт V, сц. 2, перевод Е. Бируковой.

ческие отношения с Мексикой и все консулы – то есть все английские консулы – будут отсюда отозваны. Почти все они добрые и достойные люди, а я, думается, лишь порочил звание, которое они носили. Я не вернусь вместе с ними на родину. Быть может, я вернусь на родину, но не на эту родину, не в Англию. И вот уже за полночь я поехал на автомобиле в Томалин повидать своего друга из Тласкалы Сервантеса, любителя петушиных боев, владельца «Салона Офелии», а оттуда в Париан, и вот сижу в половине пятого утра в «Маяке», в тесной комнатке за стойкой, пью вино и мескаль и пишу это письмо на бланках отеля «Белья виста», которые стащил оттуда запрошлой ночью, потому что мне невыносимо видеть бумагу из консульства, этого проклятого склепа. Смею думать, я достаточно изведаль страдания тела. Но всего страшнее чувствовать умирание души. Как знать, быть может, именно потому, что сегодня ночью душа моя поистине умерла, сейчас на меня словно снизошел мир.

А быть может, все дело в том, что путь лежит через ад, что прекрасно понимал Блейк, и, хотя я могу уклониться от этого пути, некогда, в недавнем прошлом он был явлен мне в сновидении? И странно, письмо от поверенных повлияло на меня именно в этом смысле. Сейчас, между стаканчиками мескаля, мне кажется, я прозреваю этот путь и в конце его открываются неведомые дали, словно видения нашей совместной жизни, которую мы где-то могли бы вести. Мне кажется, я вижу, будто мы живем далеко на севере, среди гор и холмов, над синими водами; домик наш приютился подле залива, и вот мы стоим в предвечернюю пору вдвоем, наслаждаясь своим счастьем, на балконе, устремив взоры вдаль, поверх водного зеркала. Впереди, сквозь листву деревьев, виднеются лесопилки, а еще дальше, на другом берегу, что-то вроде нефтеперегонного завода, но издали он кажется пластичным и восхитительно красивым.

Летний вечер прозрачен, лазурен, безлунен, но час уже поздний, наверное скоро десять, ярко сияет Венера, и вокруг светло, как днем, а стало быть, мы где-то на дальнем севере и стоим на балконе, а с того берега, нарастая, как громовые раскаты, несется к нам громоухание длинного товарного состава, увлекаемого вперед многими локомотивами, и оно подобно громовым раскатам, хотя нас разделяет широкий залив, потому что состав мчит на восток, и порывистый ветер дует с востока, и мы тоже обращены лицами к востоку, как ангелы у Сведенборга, и небо над головами у нас безоблачно, только далеко-далеко, на северо-востоке, за дальними горами, чьи лиловые вершины теперь почти воздушны, густо нависли белоснежные облака, и вдруг они, подобно яркой лампе под алебастровым абажуром, озаряются изнутри золотой молнией, но грома не слышно, грохочет только бесконечный состав, увлекаемый локомотивами все вперед, все дальше в горы, и оглушительное его эхо мало-помалу затихает; а потом неожиданно из-за мыса вылетает рыбацье суденышко под парусами на высоких мачтах, словно белый жираф, стремительное и грациозное, оставляя за кормой длинную серебристую полосу пены, которая словно ничуть не близится, но все же коварно подкрадывается к суше, наползая на нас, и ее завитой гребень сперва лижет отмель в отдалении, а потом захлестывает всю излучину берега, и нарастающий громокипящий гул вторит затихающему громоуханию состава, тотчас разбиваясь вдребезги о наш берег, а плоты, поскольку идет лесосплав и бревна ныряют среди волн, сплочены тесно, и всюду толчея, и чудесное кипение, и плеск, и переливы текучего, сверкающего серебра, а потом исподволь все вновь успокаивается, и можно увидеть в воде блеклое отражение грозных туч, и вдруг там, в глубине, среди белых облаков, вспыхивает молния, а рыбацкий парусник, оставляя за собой серебристую волну, стремительно пронизанную золотым зигзагом света, отраженного иллюминаторами, исчезает за отмелью, и все стихает, а потом снова в алебастровой бесконечной белизне далеких облаков за горами, озаряя синеву вечера, беззвучно вспыхивает золотая молния, и вокруг неземная красота...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.